



**Юрий КОЛКЕР**

## **Будетлянин: взгляд из будущего**

Хлебников умер на тридцать седьмом году жизни и оставил по себе упоительную легенду, скалькированную с истории Христа: легенду об отвергнутом спасителе. Человек пришел дать нам волю, осчастли-вить нас; явился в мир, чтобы мы прозрели, с новой благой вестью, — а мы, презренные фарисеи, не признали его, не увидели своего счастья, высмеяли мессию. Неблагодарные! Глупые, слепые и неблагодарные!

Легенда сложилась в крохотном, но деятельном кружке русских футуристов. Она была удобна людям не очень одаренным и совсем бездарным, служила им щитом и знаменем, сообщала силы и агрессивность в борьбе за место под солнцем. Едва она успела оформиться, пришли большевики. Эстетическое помрачение наступило такое, какого история прежде не знала. Художественная тупость новой власти шла дальше всякого вероятия — и оказалась превосходным пьедесталом для хлебниковской легенды. Ничего лучшего и пожелать нельзя было. По мере того, как страна погружалась во мрак, всё явственнее вырисовывалось следующее: в начале века были великие идеи, общественные и художественные, но их растоптали. Была революция в сердцах и в искусстве, но ее подавила реакция. Хлебникову в этой системе взглядов отводилось одно из самых почетных мест. Его, будетлянина, большевики не признали — и тем вознесли.

К 1950-м годам в порядочном обществе имя Хлебникова стало паролем и символом веры: кто считает его великим поэтом, тот свой, а с прочими говорить не о чем. Еще Цветаева и Мандельштам не были прочитаны и осмыслены. Еще на эмигрантов первой волны смотрели с презрением. Будущие борцы с режимом, не исключая и Солженицына, были еще советскими людьми, верили в социализм с человеческим лицом, думали, что можно — без мерзостей и кровавых костей в колесе. Кто лучше Хлебникова мог выразить эти настроения?

Тут в сознании интеллигенции Хлебников сравнился с Маяковским, болванками которого, чугунными и гранитными, была вся страна уставлена. Поэт конвенции встал в один ряд с поэтом резолюции. Хлебников подходил по всем статьям: революцию и новый мир — приветствовал, был революционером в искусстве (это, по неискоренимой людской тупости, и по сей день считают достоинством), не нравился замшелым большевикам, главное же — воплощал в себе некое тайное знание, тайную доктрину. Тайна — панацея обездоленных. В катакомбах творится будущее.

Все ли приняли бронзового Хлебникова? Нет, не все. Его ведь и в 1910-х отвергли не одни буржуи и эстеты. Разве назовешь эстетом Бунина? Многим Хлебников казался мелким, незначительным, малоодаренным. Но к 1950-м говорить об этом стало делом рискованным: человека могли заклевать. Против символа веры не попрешь. Еретикам грозил костер общественного презрения. Да и сомнение в сердца людей закрадывалось. Человек слаб. Если «все» считают Хлебникова гением, а мне он кажется посредственностью, то, может, я до него не дорос? Равнодушному тут проще уступить, похвалить новое платье короля. Нормальный человек, умный, дельный, думающий, преспокойно обходится без стихов, одними только именами поэтов. Стихи как таковые нужны немногим. Даже литературоведы, кормящиеся от литературы, знатоки дат и цитат, сплошь и рядом не понимают и не чувствуют родной просодии.

Из тех, кто в советское время всегда твердо выступал против хлебниковского суеверия, отметим Николая Чуковского. Смелый был человек, честно плыл против течения. Но его и других меньшевиков — не слышали, не слушали. Благая весть овладела массами. Твердили заученное. Твердили даже те, кому Хлебников был или стал эстетически чужд (например, поздний Заболоцкий). От мечты вообще очень трудно отказаться, особенно, если она воскрешает молодость. Но иногда приходится делать над собою это пренеприятное усилие. Иначе жизнь остановится. Говоря словами самих футуристов, кто не откажется от своей первой любви, не узнает последней. Если не бояться этой хирургии, можно и некоторые важные уроки извлечь. Например, такой: что некогда шло войной против косности, само нередко становится тупой оголтелой косностью.

### Оракул кривизны

Хлебников оказался в Петербурге в 1908 году, двадцати трех лет. Приехал из Казани, мест весьма лобачевских, где немного учился математике и физике. Как раз такого начинающего поэта в столице и недоставало. Теория относительности только-только стала злобой

дня, докатилась до газет. Физика вступала в свою романтическую эпоху. Многие прослышали: там творится нечто заумное, превышающее возможности человеческого воображения. Виду homo sapiens отказано природой в способности чувствовать кривизну пространства — ан вот поди ж ты, оно искривляется! Параллельные прямые — сходятся-таки в бесконечности, которая конечна. Нужна кривизна и в искусстве, смекнули некоторые. Новизна и кривизна. Революция. Не отставать же от физиков! Нужно нечто такое, чтобы обывателю непонятно стало и страшно. Нужно ткнуть его носом в то, что он — обыватель. Эпатировать. Тогда — с испугу и чтобы не подвергаться насмешкам — он станет платить.

Кривизна в поэзии могла идти только в направлении отказа от пушкинской гармонической точности: от надоевшего ямба, от правильной рифмы, от стройной композиции. Протест был не совсем вздорным. Старое приелось. Что было громокипящим кубком в стихах русских европейцев начала XIX века, стало спитым чаем у Случевского и Фофанова. Иппокрена превратилась в лужу, Европа — в Азиопу. Брюсов ничего существенно не изменил, только кокаину в чай добавил. Кривизны, лобачевскости ему явно не доставало.

Футуристы догадались: кривизна в искусстве, вслед за революцией в политике и в физике, вот-вот станет товаром, стóит только навалиться всем миром, ухнуть, а там — сама пойдет. Поскольку Пушкин и Лермонтов сброшены с парохода современности, а свято место не бывает пусто, нужен другой оракул. Маринетти не годился, оказался мелок и чужд. Хлебников пришёлся впору. Сам он был не из бригады Москва-Навалочная, но зато годился на роль гуру, на роль учителя-отшельника, вещающего из своей пещеры, прозревающего будущее. Мысли у него были странные, путанные, но глубокие (или казались таковыми). Обращены они были в прошлое, Хлебников историей интересовался, но ведь Блок уже произнес: «Прошлое страстно глядится в грядущее», а если литературные лаццарони его не услышали, то и без Блока было ясно, что противоположности сходятся. В настоящем — борьба и суета; светло, свято — только в прошлом и в будущем, значит, эти субстанции сходятся, как прямые Лобачевского. Никакого противоречия. Хлебников и сам так думал. Будетлянина тянуло в лес, а не в цех (как Татлина с его невзлетающим самолётом).

В 1908 году Хлебников пишет из Питера в Казань, что он — подмастерье Михаила Кузмина. Через пять-шесть лет он — уже Велимир и председатель земного шара. Футуристы спешили в будущее.

### Стая времирей

Хлебников, конечно, и был подмастерьем, косолапым провинциальным подмастерьем. В кружке изысканного Кузмина должен был выглядеть диковато. До Питера, до 1908 года, он только перо пробует и никому не известен. В Питере, после отхода от Кузмина, дело сдвинулось с мертвой точки. Нашлись союзники. Пресловутое экспериментаторство Хлебникова вызвало отклик и нашло ценителей — среди других молодых и начинающих, тоже неумелых и неуклюжих. Мовизм поднимает голову.

Ни грубости, ни плевков, ни дыр-бул-щила у Хлебникова не видим. Основные приемы футуристов ему чужды. От четырехстопного ямба, от колыбельного хорей и точной рифмы он поначалу никуда деться не может, следует им рабски, ребячески, чувствует это, — и, не умея извлечь новые звуки, начинает изобретать слова.

Там, где жили свиристели,  
Где качались тихо ели,  
Пролетели, улетели  
Стая легких времирей.  
Где шумели тихо ели,  
Где поюны крик пропели,  
Пролетели, улетели  
Стая легких времирей.

Сейчас эти стихи — классика. Такова договоренность, такова конвенция принявших благую весть. Но человек непредвзятый, в круговую поруку против обывателя не вовлеченный, признает их именно обывательскими. Программная кривизна в них сводится к неологизмам. Протрепачем эксперимент, раз уж мы о Хлебникове говорим: заменим времирей на снегирей (что, конечно, и было у него поначалу), а поюнов — на синиц. Что останется? Грамматический вздор да убаюкивающий ритм, колыбельный хорей, та самая «индия-да, индия-да, индия-да, индия», с которой к Пушкину привели восьмилетнего мальчика, а Пушкин сказал: «Он точно поэт!».

Занятно, что один из неологизмов тут проморгал и сам автор, и его почитатели: «тихоели». Какая находка! Два слова сливаются в одно, образуя чисто хлебниковскую чепуху — и обнажая поэтическую беспомощность, которой он не услышал и обыграть ее не сумел. Таков начинающий гуру. Душа у человека пуста, сказать ему нечего. Он способен только к словесной игре, притом вялой. О, лебедиво!

Тут же — и фирменный знак Хлебникова, знаменитые смехачи. Смех усмейных смехачей. Унылый смех. Именно на обывателя рассчитанный — потому что не станет же им восхищаться человек, вкусивший «звуков сладких и молитв». Небо тут с овчинку. Горизонт

в точку стягивается. Перед нами упражнение в грамматических формах, а нам говорят, что это — поэтический шедевр. Смеюнчики, да и только!

Конечно, обыватель обывателю рознь. Тот, что от смехачей ахал, — полный гимназист-восьмиклассник против замшелого большевика, дорвавшегося до власти разрешать или запрещать стихи. Большевик бы и Пушкина запретил (и пытался, да русский патриотизм ему помешал), а тут — встал в пень и разозлился. Догадался, что его дразнят. Только это и понял. Запретил — и тем самым разрешил, возвысил. Сообщил жизнь строкам узколобым, мертворожденным.

Будетлянин, между тем, матерееет. Он, как потом скажут, — глубоко народен, философичен. Вот шедевр 1913 года, законченное стихотворение:

Когда умирают кони — дышат,  
Когда умирают травы — сохнут,  
Когда умирают солнца — они гаснут,  
Когда умирают люди — поют песни.

Спросим себя по совести: как эти пустые и вялые строки могли попасть в поле нашего внимания? По какому праву? Попали ли бы, будь они безымянными? Да никогда в жизни. Нас дурачат, а мы — приплясываем и в ладоши хлопаем.

А вот образец хлебниковского Пролеткульта (1917):

Народ поднял верховный жезел,  
Как государь идет по улицам.  
Народ восстал, как раньше грезил.  
Дворец, как цезарь раненый, сутулится.

В мой плащ окутанный широко,  
Я падаю по медленным ступеням,  
Но клич «Свободе не изменим!»  
Пронесся до Владивостока.

Свободы песни — снова вас поют!  
От песен пороха народ зажегся.  
В кумир свободы люди перельют  
Тот поезд бегства, тот, где я отрекся.

Берем наугад другого пролеткультиовца — ну, хоть П. Арского: «Довольно слез и унижений, Нет больше рабства и цепей! Свободны будут поколения От тирании палачей!». Разве это вино — не из той же бочки, пусть и чуть-чуть разбавленное? Мы не о «содержании» говорим, мы о «форме» (даром, что в искусстве они неотделимы). По «содержанию» стихи эти очень разные: Хлебников ни на минуту не был

продражен; хвалит он не большевистскую революцию, а февральскую, настоящую. Но с точки зрения поэзии всё это совершенно безразлично. Перед нами просто плохие стихи.

Про Великий Октябрь Хлебников тоже что-то произнес не совсем отрицательное, хоть и двусмысленное. За это — большевики почти простили ему смехачей и времирей. Позволили упоминать Хлебникова в примечаниях к Маяковскому, а потом даже издавать — с нестерпимо глупыми предисловиями: «Хлебникову недоступно понимание истинных причин... Хлебников не сумел подняться до смелого и последовательного разоблачения... не дорос... не понял...».

Повзрослевший и побольшевевший гимназист, ахавший на неологизмы, тоже не отшатнулся от такого рода стихов. Он крепко запомнил, что Хлебников — непрост, что его аршином общим не измерить. Однако ж скажи мы гимназисту-большевику, что «Народ поднял верховный жезел» Арский написал, а не Хлебников, — он бы назвал эти стихи дрянными.

### Кой-какие соответствия

Азбучная истина: поэтическая мысль есть органический сплав звука и смысла. Именно этот сплав, в соединении с ритмом, раздвигает пространство, окрыляет, становится откровением. По отдельности оба элемента сплава недорого стоят. Смысл стиха, освобожденный от звука, беден. Число тем, число чувств., волнующих поэта, не больше числа нот, числа струн кифары. «Я вас любил. Любовь еще, быть может...»; «И Делия не посетила пустынный памятник его...»; «Я не любил ее, я знал, что не она поймет поэта...» Всё старо, как мир. Ничего нового с точки зрения философии или науки поэты не сказали (психология не в счет, она не совсем наука) — от Гомера до наших дней. Они другим заняты были.

С этого соединения звука и смысла — с ономотопеи, звукоподражания, — началась не только поэзия, а вообще человеческая речь. Протоязык людей был сплошной поэзией, сплошным священнодействием. Звук и смысл шли нераздельно. Библейский Адам, называя зверей, изображает их звуками. Потребовались тысячелетия, чтобы из поэзии выделилась проза, из храма — рынок. Проза — секуляризованная поэзия. В нашем сегодняшнем представлении ономотопея — детская игра, всякие там мяу-мяу да чик-чирики, но ее грозная сущность никуда не ушла, и настоящий поэт в каждом слове всякий раз отправляется к центру Земли, в магму протоязыка. Всё это тоже — прописные истины. Говорят, Хлебников нам открыл их. Как? А вот как:

Бобэоби пелись губы,  
Вээоми пелись взоры,  
Пизэо пелись брови,  
Лиэээй пелся облик,  
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.  
Так на холсте каких-то соответствий  
Вне протяжения жило Лицо.

Осмелимся возразить: ничего тут не открыто, тут как раз те самые чик-чирики и мяу-мяу, выхолащивание звуко смысла, попытка разделить драгоценный металл на дешевые составляющие. Дешевка и выходит. Два последних стиха выдают автора с головой: как только он вступает на традиционную и вечно живую почву поэзии, он беспомощен. Восьмиклассник (даже не гимназист, а ученик советской школы) знает: «какие-то», «какой-нибудь» в стихах — наполнители, плацебо, профанация. Не знаешь, «какие», не пиши стихов. Стихи не для этого.

Дешевой ономотопеей Хлебников заполняет целые страницы:

Велес: Бруву ру ру ру ру!  
Пицце цане сэ сэ сэ!  
Бруву руру ру-ру-ру!  
Сици, лица ци-ци-ци!  
Эрот: Эмчь, Амчь, Умчь!  
Юнона: Пирарара — пируруру!  
Лео лоло буароо!

— с непременным восклицательным знаком в конце каждого стиха. Много, много поэт сказал нам! Гомера и Гёте потеснил. Данте с Пушкиным — тоже. Бедняги не знали.

Отчего откровенный вздор нравится? Почему находятся у этого бреда горячие поклонники? Да очень просто: загадочность — привлекает. Скажи самому себе: «мне нравится!» — и ты спасен, ты уже в кругу посвященных, ты авгур и друид, ты отгородился от обывателя, возвысился над ним. В религии ведь главное — коллектив избранных, которые Богу милы и которым вместе хорошо.

И еще вот почему нравится: читателю тут не нужно быть высоким. Высота — души требует, а кривляние, насмешка, фокус, выверт — развлекают. Только развлекаться новый читатель и хотел. Устал от высокопарности символистов. Прекрасные дамы ему надоели. Лучше уж Эрот, ухающий совой.

Иррациональность — стандартная приманка и ловушка. Тут советская власть очень помогла Хлебникову. Научность, правильность, серьезность — всё это она сделала нестерпимой пошлостью. Против такой пошлости все средства были хороши — и Хлебников пошел, как горячие пирожки. У тех пошел, кому поэзия в принципе недоступна,

кто стихов не любит и не понимает. Потому что в настоящей поэзии и без того всё сплошь иррационально, иррациональна самая ее природа, самое ее существование, и этого — за глаза и за уши хватает.

Мандельштам восхищался Хлебниковым, говорите? Но, во-первых, Мандельштам — не последний авторитет в этом споре, он был современником и соратником, участвовал в литературной борьбе, находился по одну сторону баррикады с Хлебниковым. А во-вторых и в-главных — где же он похвалил Хлебникова как поэта? Он только о языке Хлебникова говорит: «самая гуща русского корнесловия, этимологическая ночь, любезная уму и сердцу умного читателя». Только и всего. И в пророчестве ошибся: «Хлебников прорыл в земле ходы на целое столетие». Какое там! На дворе эпоха саммитов и топ-моделей, никому уже не стыдно эти слова произносить, а язык Хлебникова забыт и не нужен. Мандельштам, по авторитетному свидетельству своей неотлучной спутницы Надежды Яковлевны, видел в Хлебникове «божьего человека», юродивого, одержимого, душевнобольного — и, конечно, был не далек от истины.

### Он пришел дать нам волю

Вот характерное высказывание-похвала: Хлебников «практически избавил свой язык от греколатинского корнеслова». Освободил, иначе говоря. Но свобода ли это? Француз Жорж Перек освободил свой язык от буквы е. Написал целую книгу (Пробел, 1969) без этой литеры и тем вошел в историю (больше книга ничем не замечательна). Французский язык без буквы е — можно ли такое вообразить? Какое достижение! (На английский книгу тоже перевели без буквы е.) Но при ближайшем рассмотрении такая воля оказывается добровольной тюрьмой, бесплодной игрой, дурацким колпаком. Верно: свобода возможна только в установленных границах, в жестких правилах закона, но правила эти не могут быть искусственными. Ни конституцию, ни язык, ни просодию — нельзя сочинить. Они выращиваются.

Что такое русский язык без «греколатинского корнеслова»? Остановка в пустыне. Тут не только искусственное обеднение словаря: тут тот самый изоляционизм, который, не будь Петра Великого, окончательно вытолкнул бы Россию в Азию, отдалил от всего родного и кровного, идущего из Европы. Россия (не Русь, а Московия, наследница Орды) на восток всегда была распахнута, а от запада боязливо отгораживалась после Ярослава. Не раз уже было сказано, что все ее беды — отсюда.

Жадный и сам по себе плодотворный интерес к истории (слово греческое), к русской старине и к Востоку поставил Хлебникова на ложный путь. До прихода монголов Русь была страной западной, пусть

не всецело (с юга язык и генофонд размывался тюрками), но в своем существе. Освободить ее от Запада не стоило.

### Наука умеет много гитик

Говорят и такое: Хлебников — ученый. Возможно, он и сам так думал. В университетах слегка учился математике и физике, в литературный текст вставлял рассуждения о теории относительности и формулу Эйнштейна (не совсем кстати). Писал и другие формулы, будто бы вскрывающие суть истории. Например, такую:

$$X = k + n \cdot (105 + 104 + 1011) - [102 - (2n - 1) \cdot 11]$$

Это «закон гибели царств». Здесь  $X$  — число дней между гибелями,  $n$  — номер «гибели»,  $k$  — «точка отсчета», «битва при Аксиуме», второе сентября 31 года до н.э. Это нулевая гибель: при  $n = 0$ , по комментарию Хлебникова, «Египет сдался Риму». При  $n = 1$  — «день гибели гордой Испании, завоевание ее арабами», 21 июля 711 года. При  $n = 2$  — «пробил час взятия Царьграда дикими турками», 29 мая 1453 года.

Первое и главное: формула и цитаты — из произведения, именуемого поэмой (Зангези). Остроумно? Может быть. Игра в бисер у Гессе тоже была чуть-чуть поэзией. Но разрыв с традиционным пониманием поэзии таков, что мы, говоря по совести, ни стихов, ни поэзии тут всё-таки не усмотрим — хотя бы потому, что прочесть, проговорить вслух всё это затруднительно, звук — ничего не изображает, стало быть, и звуко-смысл (условие необходимое и достаточное) отсутствует.

Теперь — не главное, второе. Не нужно быть математиком, чтобы догадаться: формула эта по своей структуре вздорна, взята с потолка, никакой внутренней логикой не обеспечена. Ее нелепость просто в глаза бросается. Формулы обычно выводят, строят из рассуждений. Здесь такого нет. Правда, изредка являются гении, формулы угадывающие. Таким был Шриниваса Раманужан, математик-самоучка, ошеломивший мир в XX веке. Он обходился без выводов и доказательств — просто смотрел и видел. Но Хлебников — другой случай. Перед нами чистая спекуляция. Отчего нулевая катастрофа — битва при мысе Акции, а не при Платеях, Фарсале или, скажем, не падение Ново-Вавилонского царства? Отчего первая катастрофа — «падение гордой Испании» (точнее было бы сказать: готской Испании; гордой Испании — Кастильи и Арагона — тогда еще и в намеке не было), а не падение Западной Римской империи, несопоставимо более важное в судьбах мира? Даже дата «падения гордой Испании» под вопросом. Битва, в которой Тарик ибн-Зияд разбил короля-узурпатора Родрика (место до сих пор ищут), началась, согласно испанским хроникам,

не 21 июля, а 19 июля 711 года и длилась семь дней. Почему именно 21 июля — поворотный момент мировой истории? Ничто на это не указывает.

Наконец, третье, в контексте разговора о стихах совсем неважное, зато самое пикантное. Формула едва ли верна. Посчитаем вместе. Литературоведы и издатели до такого труда не унижаются, а он — пустяковый, полчаса арифметики. Константа  $k$  (число дней от битвы при мысе Акции до начала новой эры) примерно равна 11048 (примерно потому, что юлианский календарь несколько раз перекраивался при Августе). При  $n = 1$  формула дает 282010 дней, и это — не июль 711 года, а февраль 773 года. Ничего себе промах! Такой же и при  $n = 2$ , — 553083 дней: не конец мая 1453 года, а апрель 1515 года. И тут — около 62 лет разницы. Мы соображаем: перед константой  $k$  забыт минус (Хлебниковым или его издателями). Вставляем минус. Тогда в первом случае получаем всё же не июль 711 года, а август 712 года, во втором — не май 1453 года, а ноябрь 1454 года. На фокусы с календарем такой ошибки не спишешь. Остается допустить, что в летосчислении Хлебникова имелся нулевой год от Р. Х., какового в летоисчислении действительном — не было. Теперь соберемся с духом и положим  $n = 0$ . С этого, собственно, и начать следовало. Формула при этом должна давать  $k$ , «точку отсчета во времени», а дает  $k - 111$ . С чего бы?!

История всерьез волновала Хлебникова, он думал, вглядывался, его наблюдения иногда верны, но чаще темны. «Наиболее близко к пониманию процессов, происходивших в Древней Руси, подошел Велимир Хлебников, — пишет историк Савелий Дудаков. — Истоки русской государственности поэт видит в сочетании трех сил: язычества, хазарского иудаизма и христианства». Это правда, но, так сказать, чрезмерная правда. Она прямо из летописей следует. Их внимательно читали и прежде. Гипотеза о еврейском происхождении крестителя Руси князя Владимира не Хлебниковым высказана. Хлебников в нее поверил — за это Дудаков его и хвалит, подкрепляя научную гипотезу авторитетом, хм, поэта. Перед нами — еще одна сторона хлебниковской легенды: многие испытывают потребность приписать ему лишнее и опереться на приписанное. Дудаков вчитывает в Хлебникова свои мысли, благо это всегда легко сделать с текстами плохо организованными, темными, ложно многозначительными.

Лет сорок назад возникла наука палеопатология. Оказывается, и в ней Хлебников сказал свое слово. Публицист Григорий Амелин пишет: «Науки как таковой еще не существовало и в зародыше, а текст целиком построенный на ее фундаментальных основаниях — есть. И не удивительно, что автор его — математик и естествоиспытатель,

больной всеми болезнями своей эпохи будетлянин-футурист Велимир Хлебников...» Следует цитата в двадцать с лишним строк из поэмы Ночь в окопе, ее концовка — о каменной бабе в пустыне. Причем здесь палеопатология? Как у человека язык повернулся назвать Хлебникова естествоиспытателем?! Так и видишь его с ретортой и тиглем. Завтра выяснится, что он предвосхитил синхрофазотрон, квазары, интернет и реликтовое излучение Большого взрыва.

А вот высказывание из энциклопедического словаря издательства Кирилла и Мефодия: Хлебников «в духе Лобачевского создал учение о «воображаемой филологии», «самовитом слове» и словотворчестве, чем стал в ряд таких ученых, как В. Гумбольдт, А. А. Потебня и Ф. де Соссюр...»

Ей-богу, такое стыдно читать! Перед нами — всё тот миф, вся та же недобросовестная игра. Никакого «учения» Хлебников не создавал, всё это «воображаемая филология» автора статьи. Для учения требуется трезвый, дисциплинированный, систематический труд, не одно только вдохновение. Самовитым слово у поэтов было всегда, термин — еще не учение. А чего сто́ят слова «в духе Лобачевского»? Автор статьи, вероятно, считающий себя ученым, но в математику не заглядывавший, вместо доказательства прибегает к литературному тропу. Только художественный текст позволяет сблизить имена Лобачевского и Хлебникова (да еще биография будетлянина, жившего в Казани). Разговор сколько-нибудь строгий или хоть серьёзный такого сближения не допускает. Ученый и художник черпают из разных источников. Ученый — обнажает и упрощает (понять значит упростить), художник — облачает, усложняет (иначе не втиснуть игру воображения в композиционные рамки). Анализ и синтез — очень разные вещи, они работают в разных направлениях и практически никогда не сходятся в одном человеке. (Даже Гёте и Ломоносов требуют оговорок. Оба они учёные средней руки. Гёте нагородил вздору, пытаюсь опровергнуть ньютонову теорию цвета. Ломоносов не выучил математики, а его «если где чего убудет, то в другом месте прибудет» еще древние греки знали. Но в любом случае оба они — работали в науке, были профессионалами, тогда как Хлебников — недоучившийся школяр, в науке, как ее ни понимай, не работавший ни дня.)

Хлебников учёных трудов не оставил (вздорные формулы не в счет), к размеренному кропотливому труду совершенно не был способен. Ученые Гумбольдт, Потебня, Соссюр скрупулезно собирали свою истину по крупицам, выстраивали ее. Хлебникова — осеняло. Работа это очень разная. И тип темперамента — разный. Поставить его имя рядом с именами филологов и особенно лингвистов — грубая, тенденциозная натяжка, унижающая одновременно и науку, и поэзию.

### Его физиономия

Человеческая физиономия Хлебникова в целом привлекательна. Подметок он не рвал, на поэтический Парнас карабкался словно бы нехотя, жил в мире своих грез, не лишенных поэтичности — и не все бесплодных (хотя бы уже потому, что миф о Хлебникове поэтичен; этот миф и есть его главное произведение, итог его жизни). Назвать себя председателем земного шара он поторопился. Таких председателей, царивших над миллионами, мы увидели только после первой мировой войны. Чаплин, Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Усама бин-Ладен (тоже художник!) — тянут на этот титул. Хлебников — не тянет. При жизни его знало (связывало его имя с его стихами) не более тысячи человек.

Изо всех его многочисленных и всегда лестных словесных портретов приведем один. Принадлежит он художнику Юрию Анненкову. Как и почти все в его кругу, Анненков — в плену легенды о гениальности Хлебникова, верит в плодотворность зауми (которую Бунин веско и точно назвал глупостью), но он наблюдателен и Хлебникова знал хорошо.

«Велимир Хлебников, мой близкий товарищ, был по сравнению с другими поэтами странен, неотразим и патологически молчалив. Иногда у меня — в Петербурге или в Куоккале — мы проводили длинные бессонные ночи, не произнося ни единого слова. Забившись в кресло, похожий на цаплю, Хлебников пристально смотрел на меня, я отвечал ему тем же. Было нечто гипнотизирующее в этом напряженном молчании и в удивительно выразительных глазах моего собеседника. Я не помню, курил он или не курил. По всей вероятности — курил. Не нарушая молчания, мы не останавливали нашего разговора, главным образом об искусстве, но иногда и на более серьезные темы, до политики включительно. Однажды, заметив, что Хлебников закрыл глаза, я неслышно встал со стула, чтобы покинуть комнату, не разбудив его.

— Не прерывайте меня, произнес вслух Хлебников, не открывая глаз, — поболтаем еще немного. Пожалуйста!

Время от времени наш бессловесный диалог превращался даже в спор, полный грозной немоты, и окончился как-то раз, около пяти часов утра, подлинной немой ссорой, Хлебников выпрямился, вскочил с кресла и, взглянув на меня с ненавистью, сделал несколько шагов к двери. В качестве хозяина дома, вспомнив долг гостеприимства, я взял Хлебникова за плечо:

— Куда вы бежите в такой час, Велимир?

— Бегу! — оборвал он, упорствуя, но, придя в себя, снова утонул в кресле и в немоте.

Минут двадцать спустя, молчаливо, мы помирились...»

Нечего сказать: ученый, естествоиспытатель!

## Его вклад

Неумение писать можно объявить новой ступенью мастерства. Технику такой подтасовки в ту пору только-только начали осваивать (во Франции, в конце XIX века). Она была еще в диковинку — и нравилась. Чем не открытие? «Не хочу по установленным правилам, хочу по моим собственным. Что по установленным правилам я не умею, в этом признаваться не буду. Что установленные правила не с потолка взяты, а отвечают природе ремесла, на это мне наплевать. Хочу по своему!»

Эта философия отвечала духу времени.

Первая мировая война с ее ужасами окопных боев разом демократизировала мир. Скачок (в культурном отношении — вниз) был гигантский. То, что прежде именовалось свободой, а на деле было демократией, заявило о себе с необычайной мощью. Народ стал если не властью, то силой. С ним приходилось считаться. В иных местах народовластие прямо вылилось в охлократию (большевизм, фашизм, нацизм). В искусстве же дела пошли так плохо, что впервые в истории был поставлен вопрос сперва о его показном потреблении (Торстейн Веблен), а затем — об умирании (Ортега-и-Гасет, Вейдле). Престол, аристократия и церковь, утратив власть, от художника отступились. Заказчиком, способным платить, стал народ, — а он высокого не хотел, не выносил.

Вглядимся в такое вот премилое четверостишье:

Полетела роза  
На зердутовых крылах  
Взявши вертуоза (sic!)  
С ним летит в его руках.

Это не Хлебников, не Крученых, не Введенский. Это Анаевский. Не слышали? Современник Пушкина, старший современник: Афанасий Евдокимович Анаевский (1788-1868), титулярный советник. Автор книг. Человек опередил свою эпоху. Новизну и смелость при нем не считали самодостаточными ценностями искусства. От искусства ждали другого: возвышающих душу порывов, красоты, способной примирить с несовершенством мира.

Окажись Анаевский в нужном месте в нужное время, ходил бы сейчас в гениях. Большевики бы его по тупости запретили, а советская интеллигенция (прослышав про запрет) — приобщила бы к лику святых, поставила в один ряд с Соссюром. Современники же сочли Анаевского бездарным (и, разумеется, были правы). Безобразное — безобразно.

Хлебников, отдадим ему должное, — не совсем Анаевский, но делал примерно то же: принижал высокое, служил низкому — в себе

и в других. Народу служил. Можно так сказать, а можно и иначе: толпе, черни, худшим сторонам человеческой природы. Упадок искусства, какого и средневековье не знало, не без его помощи случился. Сегодняшние бандиты с именами художников — в изобразительных искусствах, в поэзии, в Америке, в Европе, в России — топчут нас с санкции Хлебникова и ему подобных.

Внес ли Хлебников в литературу хоть что-нибудь? Внес: показал, что можно наплевать на композицию — и толпа проглотит.

И от строгих мертвых тел  
Дон восходит и Иртыш.  
Сизый дым, клубясь, летел.  
Мы стоим, хранили тишь.

Никогда бы прежде поэт не позволил себе проделывать такие фокусы с грамматическим временем: восходит, летел, стоим, хранили — всё об одном и том же моменте, в одном катрене. Работа над словом здесь отсутствует. Видим рабское следование ритму (всё тому же колыбельному хорею) и рифме, нанизывание на ритмическую нить первых подвернувшихся слов.

Справедливости ради отметим, что композиционные скачки (хоть и не такие нелепые) оказались плодотворными у другого поэта, у Мандельштама, который Хлебникова читал, к нему приглядывался (ветер, как известно, всегда дует слева) и этот приём у него заимствовал. Но и у Мандельштама приём не всегда работает, главное же — масштабы дарования тут несопоставимы.

Композиционная свобода — вот главное и единственное, за что можно похвалить Хлебникова как стихотворца, да и то — с оговоркой: его догадку подхватили и развили другие, более одаренные. Нельзя мешать в кучу временные конструкции, как в приведенном четверостишье, но можно и теперь уже подчас необходимо совмещать временные пласты, можно и плодотворно — жить в истории вообще, не быть ничьим современником (как сказал Мандельштам о Хлебникове, а потом и о себе).

Другой, уже названный, вклад Хлебникова (в культуру, не в поэзию) — легенда, та самая упоительная легенда, калькирующая и пародирующая историю Христа (и теперь разошедшаяся во множестве совсем уже грошовых копий). Она красива. Ее можно любить, а в определенном возрасте — даже нельзя не любить. Но взрослеть приходится. И на сочинения Хлебникова приходится-таки однажды взглянуть открытыми глазами. Сняв розовые очки, мы признаем, что в литературном, в собственно литературном отношении Хлебников не сделал ничего — ничего положительного. Король гол. Где ожидаешь увидеть курган, находишь воронку, яму — с оградкой на которой напи-

сано: «курган славы». Где ждешь найти явление, находишь суеверие. Поэта, заслуживающего этого имени, не видим. Лишь с натяжкой можно назвать Хлебникова и мыслителем. Думают вообще многие. Историю переосмысливают даже и те, кто не думает, но от мыслителя мы ждем связного труда, ясного изложения. Ничего этого от Хлебникова не осталось. Вылавливать крохи истины в его скучных, вялых, совершенно резиновых по звуку стихах, в его нарочито уродливой прозе — занятие пустое и неблагодарное. Для читателя Хлебников мертв. Для начинающего поэта — благодаря легенде — он может служить чем-то вроде катализатора («и меня признают, и я пророк»). Жив Хлебников только для его исследователей, для литературоведов, особенно западных и «левых», из которых большинство кое-как освоило русский язык — и продолжает видеть в революции благо. Жив и полезен. Исследовать его можно до бесконечности. Тропа ученых спекулянтов к нему не зарастет никогда. Нерукотворный памятник!

